

МЕТОДОЛОГИЯ КОНСТРУКТИВИЗМА

КОНСТРУИРОВАНИЕ ИСТОРИИ



В. Ф. Петренко

*Московский государственный университет
им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия,
e-mail: victor-petrenko@mail.ru*

В статье с позиции философии конструктивизма и культурно-исторической психологии рассматривается процесс воссоздания исторической картины прошлого. История психологии в этом контексте рассматривается как часть исторической психологии. В рамках культурно-исторической теории обосновывается активное участие самого интерпретатора в построении-конструировании модели прошлого, производность создаваемой им модели от имплицитных целей исследования, движущих мотивов, категориального строя языка исследователя. Помимо понятийной рефлексии объекта исследования, полагается возможность эмпатичного вчувствования, идентификация с людьми той или иной эпохи.

Ключевые слова: философия конструктивизма, культурно-историческая психология, эмпатия, идентификация, ментальная археология.

DOI: 10.7868/S1819265318010028

Статья подготовлена при поддержке РФФ: грант 17-18-01610

Для цитаты: Петренко В. Ф. (2018). Конструирование истории // Методология и история психологии. Вып. 1. С. 15–33.

Историческая психология и история психологии. Что общего между этими областями науки, кроме сходных терминов, содержащихся в названии нашего журнала «Методология и история психологии»? Историческая психология изучает, в первую очередь, менталитет прошедших эпох, ту умственную оснастку людей и культур, которые обеспечивали им выживание и развитие, формируя картину мира, которую сами люди воспринимали

как «объективную действительность» или единовозможную данность. В этом контексте история психологии как наука о человеке является частью исторической психологии, ибо взгляды на психику человека и трактовки достижений в этой области требуют реконструкции менталитета общества, выявления критериев «научности», присущей этому периоду развития психологии, а, с другой стороны, оказываются производными

от менталитета, системы ценностей самого исследователя, как представителя современности.

Менталитет людей того или иного общества, этноса, той или иной эпохи — область исследования, где в наибольшей степени сходятся интересы психолога, социолога, историка и этнографа и где сближаются концептуальные аппараты этих наук. Рассмотрим, например, результаты психологического исследования политических представлений населения. Что это? Исторический документ или психологическое исследование менталитета «дня сегодняшнего»? А если это исследования месячной давности? А годовой? История «дышит нам в затылок». И если быть строгим, все, что изучала психология, уже история, ибо «нельзя дважды войти в одну и ту же реку».

Исторические факты и события не могут быть интерпретированы и поняты вне контекста эпохи, ее духа, «вне не высказанных эксплицитно, не вполне осознанных в культуре умственных установок, общих ориентаций и привычек сознания, “психологического инструментария”, “духовной оснастки” людей — того уровня интеллектуальной жизни общества, который современные историки обозначают расплывчатым термином “ментальность”» (Гуревич, 1984, с. 8). Историческую антропологию с психологической наукой сближает не только предмет исследования, но и гносеологический инструментарий — направленность на реконструкцию категориального строя сознания, на вычленение категорий, образующих картину мира (Гуревич, 1984). Подход этот восходит к идеям И. Канта об априорных категориях сознания, к гумбольдовским представлениям о «внутренней форме языка», отражающей «дух народа» (Гумбольдт, 1984), затем нашедших операциональное воплощение в понятии семантического поля неогумбольдтенцианцев (Й. Трир, Л. Вайсгербер,

В. Порциг), а в самой исторической науке — в исследовании этнической картины мира О. Шпенглера (1998). Как пишет философ В. С. Степин (1986, с. 50), «преобразование объектов в человеческой деятельности является главным определением самого человека, выражением его сущности и основанием человеческого мира. Поэтому категории, которые фиксируют наиболее общие, атрибутивные характеристики объектов, включаемые в человеческую деятельность, выступают в качестве базисных структур человеческого сознания». Категории, как и человеческое сознание в целом, находятся в постоянном развитии. В работах А. Я. Гуревича (1984; 1990) приводится множество ярких различий в представлениях человека средневековой Европы и современного индустриального общества. «Мы имеем в виду, — пишет он, — такие понятия и формы восприятия действительности, как время, пространство, изменение, причина, судьба, число, отношение чувственного к сверхчувственному, отношение частей к целому... Эти универсальные понятия в каждой культуре связаны между собой, образуя своего рода “модель мира”, ту “сетку координат”, при посредстве которых люди воспринимают действительность и строят образ мира, существующий в их сознании» (Гуревич, 1984, с. 30).

Наряду с объектными, базисными категориями рефлектирующее сознание выделяет категории, отражающие субъект, — субъектные отношения, атрибутивные характеристики социального бытия. Так, в философии экзистенциализма до уровня мировоззренческих философских категорий поднимаются такие эмоции и психические состояния, как чувство вины, сопричастности, страх, одиночество и т.п. Грань между категориями философского или научного сознания и категориями обыденного, житейского сознания достаточно условна. Последние, развиваясь и обрастая системными связями

и отношениями, могут подниматься до уровня понятийных форм. Специфика категорий как наиболее общих и емких значений заключается в системной организации их содержания, а не в формах их репрезентации (образной или знаковой). Поэтому в психологии используют термин «категориальные структуры» применительно и к сфере восприятия, и к области понятийного, вербального мышления. Так, Дж. Брунер (1977) называет перцептивными категориями целостные перцептивные гипотезы, свернутые до некоторого единичного эталона, определяющего построение и распознавание образа.

В психологической науке исследования категориальной структуры сознания реализуются главным образом в рамках так называемой экспериментальной психосемантики (Петренко, 1983; 1988; 2013 и др.), инструментальный аппарат которой был заложен работами американских психологов Ч. Осгуда (Osgood, Suci, Tannenbaum, 1957) и Дж. Келли (Kelly, 1955) и получил дальнейшее развитие в отечественной психологии в работах В. Ф. Петренко, А. Г. Шмелева, О. В. Митиной, А. П. Супруна и др. В рамках этого подхода операциональной моделью сознания и его картины мира выступают многомерные семантические пространства. С помощью экспериментальной психосемантики, включающей применение методов многомерной статистики (факторного, кластерного анализа, многомерного шкалирования, структурного моделирования), выделяются базисные категории индивидуального и группового сознания. При геометрическом модельном представлении они выступают координатными осями многомерного семантического пространства, а анализируемые объекты картины мира задаются в виде координатных точек внутри этого пространства. Ряд параметров семантического пространства выступает операциональными коррелятами когнитивных структур.

Так, размерность пространства (число независимых категорий-факторов) отражает когнитивную сложность, меру категориальной расчлененности сознания. Мощностные выделенных категорий-факторов (вклад фактора в общую дисперсию) отражает субъективную значимость для человека данного основания категоризации. Размещение (координаты) объектов анализа в семантическом пространстве позволяет зафиксировать представления исследуемого человека об анализируемом объекте и описать этот объект на метаязыке выделенных категорий-факторов. Анализ трансформации семантических пространств позволяет описывать динамику менталитета индивидуального и общественного сознания.

Не описывая подробно методического инструментария психосемантики (см. об этом: Петренко, Митина 1997), отметим, что используемый аппарат может оказаться полезным для формализованной репрезентации результатов исторического анализа ментальности. Вместе с тем, следует подчеркнуть ряд принципиальных проблем, затрудняющих проникновение психосемантических методов в историческую науку. Главная из них в том, что психолог обращается к сознанию его реальных носителей, персонально участвующих в психосемантическом исследовании, причем сознание респондентов задействовано в «режиме употребления», а не в акте рефлексии или самосознания.

Поясим это на примере. В лингвистике используются понятия *language competence* и *language performance* — «знание языка» и «языковые умения». Маленький ребенок может прекрасно говорить на своем родном языке (т.е. обладать *language performance*), но не осознавать правила его грамматики (*language competence*). Именно «не осознавать», потому что если ребенок порождает грамматически правильные конструкции, то,

следовательно, правилами, по которым он строит речевое высказывание, он владеет, пусть имплицитно. Аналогично, взрослый человек может не осознавать категориальный строй собственной картины мира. Как писал Л. С. Выготский (1934), являясь средством осознания, понятия (и соответственно, наиболее общие понятия — категории) могут не осознаваться субъектом как таковые. Поэтому в психосемантическом эксперименте перед испытуемым (респондентом) не ставится задача на осознание собственной категориальной сетки мировосприятия. Ему даются задачи, где система значений задействована в режиме употребления. Человек в психосемантическом эксперименте что-либо классифицирует, оценивает, выносит конкретные единичные суждения, а результаты этой деятельности накапливаются и фиксируются в матрице данных, из которой с помощью многомерного статистического анализа исследователь затем выделяет некие базисные категории. Это категории-факторы, и они задействованы в режиме «употребления» при единичных высказываниях и суждениях респондента. Таким образом, по результатам конкретной деятельности испытуемого исследователь реконструирует категориальную систему, которая может и не осознаваться самим испытуемым, но образует опорные точки его собственной «картины мира».

В исторической антропологии историк основывается на собственных представлениях о той или иной эпохе и, будучи проникнутым ее духом и мироощущением (т.е. являясь ее гражданином не по «крови, а по духу»), стремится отрефлексировать ее категориальный строй. При этом он обращается к собственному историческому сознанию, так что респондент и исследователь оказываются представленными в одном лице — своеобразном очевидце не виденных, но воссозданных в воображении событий.

Как совместить достоинства обоих подходов к исследованию менталитета? Большую формализованность и отстраненность, и отсюда, возможно, большую объективность психосемантического подхода, обращенного к сознанию массы обывателей, и историческую компетентность, и интерпретационную виртуозность историка, обращенного к собственным представлениям об изучаемой эпохе. Эта проблема, решение которой может обогатить и историческую, и психологическую науку, пока (хотелось бы верить, что только пока) далека от решения.

В качестве гипотетических наметок можно было бы отметить только то, что и психолог, анализирующий семантическое пространство респондента (описывающий его менталитет), не свободен от интерпретационных проблем. И психология, и история, исследуя человека, являются науками о понимании, т.е. герменевтическими науками (Брудный, 1998; Гадамер, 1988; Дильтей, 1996; Залевский, 2008; Знаков, 2007; 2010; Карицкий, 2010; Мартинсоне, Карпова, 2008; Янчук, 2007 и др.). Однако многомерное семантическое пространство с его координатными точками восприятия множества объектов выступает ориентировочной основой для вчувствования, эмпатии исследователя в сознание респондента. Оно выступает своеобразной синхронической партитурой (картиной, картой, схемой), которую породил респондент и которую должен прочесть исследователь.

Возможно, что позиции исследователя и субъекта мировосприятия, совмещенные в одном лице, для историка могут быть разведены через создание тезаурусов исторических документов и огромного материала личных дневников, писем и литературного творчества людей изучаемой эпохи. Развитие компьютерной техники с ее огромными возможностями хранения информации может привести к созданию мощных баз дан-

ных, построенных на основе исторических документов — формализованной и упорядоченной «исторической памяти», представленной в форме семантических пространств, семантических сетей или иных форм репрезентации. В таком случае откроется перспектива исторической психосемантики — психосемантического анализа в исторической антропологии.

В отличие от истории психологии, где происходит смена школ и парадигм в ходе становления психологии как науки, историческая психология призвана реконструировать дух прошедших эпох, ментальность выдающихся исторических деятелей, а также картину мира, обыденное сознание народов, подчас уже сошедших с исторической сцены.

Действительно, чтобы функционировали политические и экономические институты, необходимы определенные типы сознания людей, реализующих экономическое и политическое поведение. Например, для того чтобы существовало феодальное общество, необходимы феодалы, имеющие свои представления об отношениях вассала и сюзерена, о долге и чести рыцаря, крестьяне, имеющие свое отношение к земле и труду, погруженные в мир представлений сельской общины и ее традиционный уклад, и, наконец, необходима некая религиозная идеология, синхронизирующая взаимодействие различных сословий.

Для того чтобы существовало социалистическое общество советского типа (эпохи развитого социализма), необходима особая форма «двоемыслия» (Дж. Оруэлл) или «кентаврического сознания» (М. К. Мамардашвили), где нормы поведения граждан определяются не декларируемыми и закрепленными в конституции правами, а некими негласными правилами, нарушение или даже попытка обсуждения которых каралась инквизицией двадцатого века — спецслужбами НКВД, КГБ. Специфика сложной семио-

тической игры декларируемого и реально действующего породила специфический тип еретика-правозащитника, ориентированного в своей правозащитной деятельности именно на соблюдение конституционных прав граждан.

Помимо социальных представлений (в терминах С. Московичи (1998)), в механизм социального взаимодействия входят и эмоциональные состояния. Например, чувство религиозного воодушевления во времена крестовых походов, эсхатологические ожидания близкого конца Света в Византии накануне первого тысячелетия или доминирующее чувство страха во времена разгула инквизиции в Средневековье или в современном тоталитарном обществе.

Современная Западная Европа и Северная Америка, коммунистический Китай и Черная Африка, Арабский Восток и Индия отличаются не только и не столько промышленными технологиями и обликами городов, которые в условиях глобализации имеют тенденцию к стандартизации, сколько системой ценностей и картиной мира людей, их населяющих. Новейшая история демонстрирует, что в дискуссии Ф. Фукуямы (2003), предрекавшего конец истории как снятию противоречий при всемирном движении к либеральному обществу, и С. Хантингтона (2003), полагавшего в ближайшем будущем противостояние нескольких крупных цивилизаций, объединенных религиозно-идеологическим единством, прав, скорее, Хантингтон, и антагонизм разных «правд» сохранится. Только, вероятно, в эпоху Интернета противостояние и конкуренция различных ценностей и стилей жизни необязательно должна реализовываться в привычных рамках государственных образований, а они возможны и между виртуальными сообществами людей, объединенными сходством менталитета.

Понимание предмета исторической психологии как истории и эволюции

ментальности заложено, на мой взгляд, трудами О. Шпенглера, исторической школой Анналов (Л. Февр, М. Блок), работами отечественного историка А. Я. Гуревича (1984; 1990), психологов А. П. Назаретяна (2001) и В. А. Шкуратова (1994). Наряду с реконструкцией исторической ментальности предметом рассмотрения исторической психологии могут быть и потенциально возможные траектории исторического бытия, и картины мира, где ставшее и актуально существующее бытие есть только одна из воплотившихся реализаций потенциально возможного, только одно из возможных состояний, к которому могла бы прийти эволюционирующая система. Применительно к истории возможность сослагательного наклонения — «что было бы, если бы реализовалась альтернативная версия значимого исторического события», как в этом случае развивались бы обстоятельства и формировался общественный менталитет и культура, использовал Дж. Тойнби (1996). Примером его анализа были гипотетические зарисовки такого типа: каким мог бы быть архитектурный образ европейских городов, если бы в битве с арабами при Пуатье победило не объединенное рыцарство христианского мира, а мавры. Применительно к нашей новейшей истории это могли быть такие построения: куда пошло бы развитие СССР и России, если бы в августе 1991 года победили лидеры ГКЧП, или, более узко и конкретно, куда могла бы привести цепочка этих событий, если бы в начале путча первый президент Российской Федерации Б. Ельцин был бы арестован.

В более узком плане и в применении к России историческая психология направлена на реконструкцию духа отечественной истории, на анализ стилей жизни, системы ценностей, нравов, жизненных сценариев и идеалов различных социальных слоев в ее различные исторические периоды. Так, например, карти-

на мира и система ценностей наших соотечественников двадцатых-тридцатых годов прошлого века, в силу понятных причин, связанных с тоталитарным прошлым, выдававших желаемое за действительное и искоренявших субъективизм в исторической науке, изучены, наверное, в меньшей степени, чем менталитет эпохи Пушкина и декабристов.

Последующие зигзаги нашей политической истории и связанное с этим переосмысление прошедшего породили шутовское изречение: «Россия — страна с непредсказуемым прошлым». В общем-то, эта шутка представляет собой парафразу положения немецких романтиков Ф. Шлегеля и Новалиса: «Историк — это пророк, предсказывающий прошлое». Поскольку достаточно общепринятым стало положение о том, что позиция исследователя, его язык описания, его культурные установки и система ценностей имплицитно присутствуют в категоризации, описании объекта или события (в нашем случае исторического), то следствием этого положения становится идея плюрализма, множественности различных исторических моделей описания прошлого. Так возможно ли объективное изучение прошлого, и существует ли исторический факт, как непреложная данность?

Чтобы попытаться ответить на эти вопросы, рассмотрим представления так называемой «ленинской теории отражения», на которой было воспитано старшее поколение российских (советских) психологов, а также конструктивистского и интуитивистского подходов в гуманитарных науках и психологии. Многие психологи могут мне возразить, что они давно отошли от метафоры отражения, и это пройденный этап в методологии психологии. Но найдутся и явные сторонники. И тем, и другим я могу продемонстрировать множество психологических текстов, где пишется о соответствии их теорети-

ческих построений некоей «объективной действительности», «психологической реальности», «социальной действительности». При этом сама эта действительность подразумевается, как некая онтологическая данность, существующая сама по себе безотносительно к позиции исследователя, и ставится вопрос, насколько тот или иной образ, та или иная характеристика или оценка соответствует действительности. Один из наиболее ярких отечественных методологов естественно-научной парадигмы В. М. Аллавердов выразил подобную позицию следующим образом: «ученый стремится узнать то, что есть на самом деле, но всегда вносит в это знание нечто такое, чего на самом деле нет. Ученый является лишь искателем истины, а не ее носителем» (Аллавердов, 2005; см. также: Аллавердов, 2009; Аллавердов, Кармин, Шилков, 2008). Эти представления характеризуют позицию многих не только отечественных, но и зарубежных ученых. Как отмечает Х. Патнем, «сегодня многие философы, а возможно, большинство, придерживаются некоторую версию “копирующей” теории истины — т.е. концепцию, согласно которой утверждение является истинным в том случае, если оно соответствует (независимым от сознания) фактам» (Патнем, 2002, с. 9). Теория отражения (или ее версия «теория копирующей истины») имплицитно содержится в мировосприятии большинства психологов и философов. Особенно это парадоксально звучит в тематике общения, межличностного восприятия, сознания и самосознания, где, казалось бы, уже сама проблематика подразумевает пристрастного наблюдателя, включенного в изучаемый процесс.

Интересно, что ортодоксальные марксисты не замечали противоречия между положением о возможности бесконечного приближения к истине в познании «объективной реальности» и ут-

верждаемого ими же положения о классовой природе познания. При этом последнее положение, по сути, ближе культурологическому релятивизму О. Шпенглера (1998), рассуждавшего о специфике греческого, арабского или новоевропейского (фаустовского) мироощущения и возможности в рамках этих разных картин мира различных форм логики и математики.

В истории советской гуманитарной науки наиболее глубокие отечественные философы и психологи (под мощным давлением тоталитарной идеологии вынужденные прикрываться идеологическими клише типа «диалектического материализма») выходили за жесткие рамки «теории отражения» или ее психологической производной — «теории уподобления», фиксируя включенность позиции субъекта как в его картину мира (А. Н. Леонтьев), так и в его бытие (С. Л. Рубинштейн).

Взамен бессубъектного понятия «действительность», под влиянием, как полагаю, М. Хайдеггера (об этом свидетельствует, в частности, использование хайдеггеровского понятия онтического) С. Л. Рубинштейн в своем труде «Бытие и сознание», и особенно в книге «Человек и мир», вводит в психологическую теорию понятие «бытие». «Бытие как таковое, — пишет он, — как сущее — это исходное, первично данное, необходимо предполагает мое познание, т.е. человека, существование сущего и познаваемого» (Рубинштейн, 1997, с. 9). Наука о бытии невозможна без человека. Специфическим способом существования человека, по Рубинштейну, является наличие у него сознания и действия. Мир, по Рубинштейну, есть «организованная иерархия различных способов существования, точнее — сущих с различным способом существования» (там же, с. 10). Вместо бессубъектной «объективной действительности» объектом психологического рассмотрения и осознания

у Рубинштейна оказывается «Мир существования как мир человеческого страдания...» (там же, с. 19). Таким образом, уже отечественная психология в лице ее наиболее глубоких мыслителей стремилась выйти за рамки натуралистически-материалистической парадигмы теории познания, уже преодоленной в таких областях науки, как релятивистская и квантовая физика, отчасти семиотика и структурная лингвистика.

Наиболее радикально порывает с традицией онтологизации познавательных моделей конструктивистский подход или конструктивистская парадигма в теории познания. «Конструктивность — полагает И. Т. Касавин — едва ли не главное отличие человеческого познания... Знаково-символические системы, стихийно возникая как эпифеномен деятельности и общения, приобретают затем относительную самостоятельность, и мыслительная работа с ними не только сопровождает все проявления человеческой активности, но является условием ее возможности. Познание не есть копирование некоторой внешней познаваемой реальности, но внесение смысла в реальность, создание идеальных моделей, позволяющих направлять деятельность и общение и приводить в систему состояния сознания» (Касавин, 2000, с. 21).

Жесткий конструктивизм выражает немецкий философ П. Элен, говоря о том, что «лежит ли в основе познания какая-либо <действительность>, мы не можем знать; высказывания на эту тему, и в первую очередь все метафизические понятия — субстанция, бытие, сущность, суть наши конструкции и лишены какого-либо реального основания» (Элен, 1999, с. 84). Как лапидарно утверждает американский философ Р. Роти, «понятия, в которых сформулированы традиционные вопросы западной философии, были полезны прежде, но сегодня они бесполезны» (цит. по Элен, 1999, с. 84).

Истоки конструктивистских идей можно найти у В. Гумбольдта (1984, с. 9): «Различные языки — это не различные обозначения одного и того же предмета, а разные видения его». Эта мысль продолжена авторами гипотезы лингвистической относительности Сэпира-Уорфа: «Мы расчленяем природу в направлении, подсказанном нашим языком, мы выделяем в мире явлений те или иные категории и типы совсем не потому, что они (категории и типы) самоочевидны; напротив, мир предстает перед нами как калейдоскопический поток впечатлений, который должен быть организован нашим сознанием, а это значит — в основном языковой системой, хранящейся в нашем сознании... Мы сталкиваемся, таким образом, с новым принципом относительности, который гласит, что сходные физические явления позволяют создать сходную картину вселенной только при сходстве или, по крайней мере, при соотносительности языковых систем» (Уорф, 1960, с. 174).

Конструктивизм уже завоевал доминирующую позицию в социологии (П. Бергер, Т. Лукман), в этнологии и антропологии (Ф. Барт, Э. Галлер, Э. Хобсбаум, В. Тишков). Предшественниками конструктивизма в социологии можно считать основоположника феноменологической социологии А. Шюца. «Даже в повседневной жизни — полагает он — восприятие предмета представляет собой нечто большее, чем просто чувственную презентацию. Это объект мышления, конструкт высоко сложной природы, включающий в себя не только определенные формы последовательности его конструирования во времени как объекта отдельного чувственного восприятия, скажем, зрения, но и странственных отношений, чтобы конституировать его как чувственный объект нескольких чувств, скажем, зрения и осязания, но также и вклад воображения,

завершаемый гипотетическим чувственным представлением... Иными словами, так называемые конкретные факты быденного восприятия не столь конкретны, как кажутся. Они уже включают в себя абстракции высокосложной природы, и мы должны принять их во внимание во избежание неуместной здесь иллюзии конкретности» (Шюц, 2004, с.7).

Яркий пример конструкционизма в социологии являет концепция «общества, основанного на знаниях», Н. Стера (Stehr, 1994), в которой представлены проблемы глобализации современного мира. Обсуждая эту теорию, отечественный социолог Н. Е. Покровский отмечает, что «теория Стера имеет немалую историю, связанную с именами Р. Лейна, П. Дракера, Д. Белла, Р. Аарона. Действительно, в современных обществах научное знание представляет собой не только способ мысленного освоения социальной реальности, но и средство ее практического творения. В этой связи сообщества ученых исполняют не только функцию экспертов, но и «драматургов» самого действия (на что, как правило, претендуют лишь политики и предприниматели)» (Покровский, 2004, с. 23). Особую роль психологии как инструмента конструирования социальной реальности через трансформацию и развитие образования постоянно подчеркивает А. Г. Асмолов (Асмолов, 2016; Асмолов, Гусельцева, 2016).

В психологии родоначальником конструктивизма можно считать Л. С. Выготского, заложившего основы культурно-исторической теории. Идея формирования «нового человека», которую разделял Выготский в аспекте построения реальности под некий идеал, по сути конструктивистская (утопизм тоже форма конструктивизма). В бурном революционном начале 20-го века идеи конструктивизма были широко распространены в архитектуре (Г. Земпер, Ле Корбузье, В. Е. Татлин, И. И. Леонидов), живописи,

поэзии (К. Л. Зелинский, И. Л. Сальников, А. Н. Чечерин, В. Имбер, отчасти Э. Багрицкий).

Идея «мы старый мир разрушим до основания, а затем мы наш, мы новый мир построим...» — звучала рефреном в мировоззрении не только леворадикальных политиков (не говоря уже о жаждущих перемен широких массах), но была лейтмотивом творчества значительной части гуманитариев, для которых отказ от ветхозаветной модели неизменно во времени человека означал возможность творческой эволюции человечества в движении к справедливому обществу. Последовавший затем переход в идеологии от революционного романтизма и футуризма (которые можно условно назвать леворадикальным «конструктивизмом») к теории отражения и «социалистическому реализму» является косвенным свидетельством отклонения маятника идеологии от революционных к предельно консервативным формам мировоззрения, фиксирующим «единственно правильную точку зрения». Проявлением этого консерватизма в политике стал переход к однопартийной системе, в экономике — практически возврат к крепостному праву в деревне и рабский, принудительный труд в Гулагах, в науке же вылился в требование единомыслия.

Психологи Ф.И. Барский и А.М. Улановский в частной беседе обратили мое внимание на то, что и представители школы Выготского—Лурии—Леонтьева, декларируя приверженность ленинской теории отражения, стояли на позициях конструктивизма. С этим можно согласиться только отчасти. В условиях жесткого идеологического давления тоталитарного общества даже само методологическое обсуждение неких иных принципов, кроме официально декларируемых, было просто немислимым, и гипотетический методологический спор быстро перешел бы (история отечественной науки

знает множество тому трагических примеров) в плоскость «быть или не быть» в чисто физическом плане. И наши учителя вынуждены были часто прибегать к охранительной терминологии, дающей индульгенцию на идеологическую чистоту. Тем не менее действительно, этнопсихологические исследования А. Р. Лурии (1974) культурно-исторической специфики познавательных процессов, идея функционального органа (А. А. Ухтомский, А. Р. Лурия), не имеющего морфофизиологической привязки и возникающего под решение конкретной задачи, на мой взгляд, в методологическом плане резонансны идее «множественности возможных миров» (Хинтикка, 1980) или моделей «потребного будущего» (в терминах Бернштейна (1966)). Близок к конструктивизму и В. В. Давыдов (1972), рассматривающий теоретическое мышление как оперирование идеальными моделями, фиксирующими наиболее существенные свойства, не сводимые к эмпирическому опыту, а раскрывающиеся (конструируемые) только в системных связях и отношениях с такими же абстрактными теоретическими моделями.

На мой взгляд, конструктивизм в психологической науке содержит несколько базисных составляющих, таких как: идея познания как построения («познавать значит динамически воспроизводить объект, но для того чтобы воспроизводить, нужно уметь производить...» (Пиаже, 1960)); идея модальности в познании как понимание того, что наличные теории не копируют, а моделируют реальность («карта — это не есть территория» (Гриндер, Бэндлер, 1994); идея плюрализма истинности как понимание правомочности множества конкурирующих моделей, адекватность которых может определяться не наличным, а еще «не ставшим», находящимся в развитии бытием; и, собственно, идея конструктивизма, заключающаяся в том, что познание

не только описывает, но и творит реальность, и теоретические модели по принципу кольцевой причинности участвуют в созидании мира (познание как конструирование, внесение в мир нового (Петренко, 2002)).

Ну и наконец, наиболее последовательную конструктивистскую позицию занимает создатель теории личностных конструктов Дж. Келли (1955; 2000). Его известное положение о том, что «психические процессы канализируются по руслам тех конструктов, в рамках которых антиципируются события», является по духу конструктивистским, так как выводит активность действующего и строящего мир субъекта, исходя из вариантов его картины мира. Забегая вперед, отмечу, что дальнейшее развитие идей Келли в рамках отечественной психосемантики (Петренко, 1983; 1997; 2013; Петренко, Митина, 1997; Петренко, Супрун, 2017; Шмелев, 1983; 2002) неизбежно интегрирует идеи конструктивизма и интуитивизма, ибо построение многомерных семантических пространств как операциональных моделей сознания и фиксации коннотативных значений (смыслов субъекта по поводу анализируемых объектов) дают своеобразную ориентировочную основу для эмпатии, встраивания в сознание картины мира другого. Само же эмпатийное сопереживание имеет не рационалистически конструктивистскую, а интуитивистскую природу.

Вообще-то стихийный конструктивизм имманентно присущ психотерапии как системе психологических технологий, призванных перестроить «психический мир» пациента, той рациональной психотерапии, адептом которой являлся Дж. Келли, и особенно нарративной психотерапии (М. Мэхони, Н. Мейер (Соколова, 2002)), где рассказ пациента о прошлом и перекомпозиция этого рассказа с иными акцентами на произошедшие события и переживания ведут

к перестройке автобиографической памяти (Нуркова, 2002) и, как следствие, изменению личности.

Методическими средствами изучения исторической психологии в рамках конструктивизма могли бы быть построения семантических пространств на основе тезаурусов исторических текстов. Такого рода исследования вполне реализуемы, хотя и требуют компьютерной обработки огромных массивов исторических материалов. Трактовка же построенных исторических семантических пространств как ментальных карт прошедших эпох неизбежно содержит интерпретационный плюрализм и различные герменевтические версии.

Если для эпистемологической парадигмы «теории отражения» когерентной является общественно-формационная модель истории с «объективными законами развития» и включающая идею «эквивализма» самого исторического процесса, то конструктивистская модель подразумевает как вариативность возможных сценариев будущего, так и плюрализм истинности в версиях прошлого. Обе вышеупомянутые парадигмы включают некую методологию и систему научных методов опосредованного изучения исторического процесса и менталитета людей, его реализующих. Для формационной модели он прямо детерминирован социальной принадлежностью индивида.

Психосемантический подход к исследованию сознания и личности в психологической науке традиционно относят к когнитивистской парадигме. Так, в четырех из пяти изданных на русском языке американских учебниках по психологии личности теория личностных конструктов отнесена к когнитивистскому подходу, для которого свойственны операционализация теоретических понятий и широкое употребление математического аппарата и формализаций в построении ментальных карт. Такая классификация

справедлива лишь отчасти. Действительно, психосемантика использует аппарат многомерной статистики (факторный, кластерный, детерминационный анализ, многомерное шкалирование и структурное моделирование) для построения семантических пространств, выступающих операциональной моделью индивидуального и общественного сознания. И отдельные параметры этих семантических пространств отражают когнитивную организацию сознания индивида (Петренко, 1983; 1987; 1997).

Так, размерность семантического пространства (число независимых факторов) отражает когнитивную сложность личности в данной содержательной области. Семантические склейки дескрипторов языка описания выделяют личностные конструкты как индивидуальные эталоны категоризации, присущие субъекту. Мощностные выделенных факторов (перцептуальная сила признака), выраженная во вкладе фактора в общую дисперсию, отражает субъективную значимость для индивида данного основания категоризации. И, наконец, координаты коннотативных значений в семантическом пространстве (как проекции образов анализируемых объектов на координатные оси семантического пространства) выступают коррелятами личностного смысла субъекта (термин А. Н. Леонтьева) относительного анализируемого объекта. Казалось бы, семантический аппарат дает достаточно формализованную модель содержания сознания субъекта и отнесение психосемантики к когнитивистской парадигме вполне правомочно. Но в отличие от объектного описания, присущего естественно-научной парадигме в психологии, субъективные семантические пространства выступают для интерпретатора не как некий идеальный модельный объект, изоморфный объекту исследования. Если, как подчеркивает герменевтика, естественные науки — это науки о познании,

то гуманитарные — о понимании. Применительно к построению субъективных семантических пространств Ч. Осгуд, один из основателей психосемантического подхода (и автор метода семантического дифференциала), рассматривал семантическое шкалирование как «поддержанную интроспекцию».

С нашей точки зрения, система личностных смыслов, представленных в семантическом пространстве облаком координат коннотативных значений, выступает как ориентировочная основа процесса эмпатии, встраивания сознания исследователя в мироощущение другого (или в свое собственное при исследовании самосознания). То есть интерпретация построенных семантических пространств как необходимое и важнейшее звено психосемантического анализа необходимо включает эмпатийно-интроспективную составляющую. Интроспекция как непосредственное (прямое знание) собственной психической жизни, многократно и справедливо раскритикованная многочисленными психологическими школами (начиная с бихевиоризма и психоанализа и заканчивая теорией деятельности и когнитивистикой психологией) остается тем не менее ведущим источником информации о психической жизни субъекта (см. также: Карицкий, 2005; Мазилев, 2007). Ведь подчас «забывается», что тексты испытуемого — основной источник информации для психолога-исследователя и практика — порождаются на основе интроспекции (самоотчета) испытуемого. И здесь, в наших теоретических построениях и рассуждениях, мы перекидываем мостик между конструктивизмом и интуитивизмом как взаимосвязанными и необходимыми процессами построения идеальных моделей в познании (отметим, что в математике эта связь вырисовывается с очевидностью (Непейвода, 2001)).

Идею прямого, непосредственного знания дает подход, который можно ус-

ловно назвать интуитивистским и который наиболее последовательно представлен в философии Анри Бергсона (1998). В интуитивистской парадигме (в исторической психологии, скорее, потенциально возможной, чем реально существующей и связанной, более вероятно, с религией и теософией, чем с позитивной наукой) предполагается возможным непосредственное восприятие исторической ментальности и в пределе исторического факта как непосредственно наблюдаемого события.

В новаторской для своего (1907 г.) да и нашего времени работе А. Бергсон пишет о принципиальной невозможности научными методами, годными только для фиксации синхронических (фотографических, в терминах Бергсона) срезов, описать живое движение, динамику эволюционирующего (в нашем случае — исторического) процесса. Применительно к биологической эволюции Бергсон вводит понятие интуиции, интуитивного вчувствования одного живого существа в психику другого как механизм прямого знания. Так, рассуждает Бергсон, оса безошибочно наносит жалящий укол в нервные ганглии гусеницы (чтобы в дальнейшем использовать ее как пищу для собственной личинки) не путем научения (через систему проб и ошибок, объяснили бы бихевиористы), а непосредственно чувствуя, ощущая в себе самой эти ганглии и их местоположение (т.е. моделируя средствами своей психики самоощущение другого существа). Аналогичный пример приводит П. Бреннер, когда он попробовал лечить с помощью акупунктуры жеребца, который покрывал кобылу и при этом повредил себе спину: «Прикинув, в каком бы месте у меня бы начала стрелять спина при активных занятиях любовью, я быстро воткнул двухдюймовую иглу в спину лошади с апломбом китайского мастера-мудреца, который вылечил тысячи больных жеребцов»

(Бреннер, 2003, с. 38). Попытка увенчалась успехом, и жеребец выздоровел.

Возможность интуитивной эмпатии Анри Бергсон объясняет наличием общих эволюционных корней у живых существ. Это чувство единства всего живого, генетического родства с миром животных и даже растений может непосредственно переживаться тонкими поэтическими натурами. «Со всей этой летающей, плавающей, бегающей тварью я чувствую родственную связь, и для каждой в душе есть образ-памятка, всплывающий в моей крови через миллионы лет: все это было во мне, гляди только и узнавай...». «Мы потеряли способность плавать, как рыбы, и качаться на черенке, прикрепленном к могучему стволу дерева, и носиться из края в край семенными летучками, и все это нам нравится, потому что это все наше, только было очень, очень, очень давно» (Пришвин, 1926).

В рамках трансперсональной психологии С. Гроф (1994) полагает возможность в измененных состояниях сознания проникать в опыт предыдущих реинкарнаций (воплощений) человека. Глубина этой памяти, возможно, опускается вниз по эволюционному генетическому древу, и в глубинах человеческого бессознательного содержится информация о наших далеких животных предках. По крайней мере, это справедливо относительно морфологических трансформаций в ходе эмбриогенеза (от «рыбки» к человеческому существу). Можно высказать гипотезу и об эмбриогенезе психики, ведь доказано, что и в утробе матери развивается психика ребенка и он чувствует состояния матери, слышит музыку и т.д. Но ведь эти способности с чего-то начинались? Поэтому представляется разумным предположение о наличии и хранении в подкорке человека некоего надындивидуального опыта предков. Ключом, способным открыть это хранилище, может выступать гипноз. «Знакомая из биологии формула “онто-

генез повторяет филогенез” справедлива не только по отношению к закономерностям физического развития человека, но и применительно к становлению его психических функций» (Гримак, 2004, с. 10).

Предлагаемое ниже описание, взятое из психотерапевтической практики моего друга и сотрудника, гипнолога В. В. Кучеренко, может иметь множество различных интерпретаций. Одна из интерпретационных версий может работать на гипотезу даже не родовой, а «типовой» (тип позвоночных) памяти. Пациентка наряду с психосоматическими расстройствами страдала булимией (обжорством без насыщения). В юности она училась в балетной школе и вынуждена была ограничивать себя в еде. Иногда она срывалась и в тайне от окружающих поедала пирожные, испытывая потом сильнейшее чувство вины. Оставаясь стройной и миниатюрной, она воспринимала себя толстой и непомерно развешшейся. Во время гипнотического сеанса ею был воспроизведен опыт переживания той далекой молодости, даже детства, когда ее балетный партнер, застав ее за пожиранием пирожка, отвесил ей оплеуху и назвал короной (ведь ему требовалось поднимать ее при исполнении па-де-де). Ненасытное чувство голода преследовало ее и во взрослом состоянии. В состоянии гипнотического сеанса психотерапевт отправлял пациентку в иллюзорную реальность «греческого пира», в обильное застолье усадьбы русского барина и даже в оргию первобытного племени, празднующего добычу мамонта. Но нигде воображаемая ситуация не позволяла ей наесться и насытиться. Так, например, в последней ситуации аппетитный поджаренный на костре кусок мамонтины у нее грубо отнял здоровенный амбал в звериной шкуре, и ей осталось только обиженно скулить о незаслуженной обиде. Блаженство насыщения она смогла пережить только в гипнотическом сеансе в образе птеродактиля,

когда социальные запреты оказались сняты, и в теле доисторического животного она смогла реализовать свои нереализованные желания. Барражируя на своих перепончатых крыльях и испытывая, как она сама потом выразилась, «чувство территориального хищника» («моя территория, моя добыча»), и затем спикировав на воображаемое земноводное (крупное и вкусное типа эволюционного предка жабы), она с неизъяснимым удовольствием сожрала его. С тех пор нормальное чувство сытости стало регулярно возникать у нее в реальной жизни.

Возможность интуитивной эмпатии русский философ «серебряного века» Н. О. Лосский (1992) объясняет координацией «субстанциональных субъектов» — своего рода резонансом душ живых существ. Применительно к общению людей эмпатическим камертоном взаимопонимания выступает эмоциональная близость. Так, например, опираясь на этнографические зарисовки южноафриканского писателя Лоуренса Грина, психолог А. Г. Сулейманян (2003) обсуждает возможность телепатической связи между членами первобытного племени. По мнению Л. Грина, «язык дымов» африканских бушменов и австралийских аборигенов, с помощью которого передаются довольно детальные сообщения, не является языком в собственном смысле слова, так как скорость передачи сообщений слишком велика для примитивной сигнальной системы. Костры только стимулируют, призывающий туземцев настроиться на прием сообщения. «Я развожу костер для того, чтобы другие знали, что я уже начал думать — объяснял один австралийский абориген писателю. — И они тоже начинают думать, пока наши мысли не совпадают» (Грин, 1966, с. 43). Анализируя текст книги Грина, Сулейманян приводит ряд психологической литературы по телепатии и связывает возможность телепатии со способностью туземцев к край-

нему сосредоточению внимания (присущему и животным), а также очень тесным и близким отношениям между собой членов племени. Сходные телепатические феномены, по мнению Сулейманяна, могут наблюдаться и у «цивилизованных людей» в экстраординарных обстоятельствах. Например, есть множество свидетельств того, что матери испытывают, казалось бы, беспричинную тревогу по поводу детей, находящихся за многие сотни километров от матери, действительно попавших в это время в беду. Утрату этих телепатических способностей у современного человека Сулейманян видит в духовной нищете и утрате любви к ближним, ссылаясь на свидетельство Матери Терезы: «Вечером я ходила по вашим городам. Входила в ваши дома, и обнаружила в них еще более глубокую нищету, чем у нас в Индии: нищету душ, лишенных любви». Не в этом ли лежит ключ к разгадке тайны?» (Сулейманян, 2003).

Возможно, дорогу к состоянию единения душ дает гуманистическая психология, а конкретнее, групповая психотерапия в духе К. Роджерса. Трудно описать тому, у кого нет опыта прохождения Т-групп, эти состояния измененного сознания, некоторого нервного возбуждения, в определенный момент охватывающего одновременно всех участников группы и ощущаемого как единое напряженное поле. Это чувство единства группы, включающей всех участников группового процесса, как приятных, так и неприятных тебе людей. Каждая группа уникальна, и рассказ о происходящем в группе даже близкому тебе человеку ощущается как некоторое предательство группы, потому что происходящее надо непосредственно пережить во всех нюансах, а рассказ вне контекста — всегда огрубление, граничащее с опошлением; и, наоборот, уход, выпадение из группы даже неприятного тебе человека воспринимается болезненно, как будто в едином поле

образовалась дыра, и группа лишилась одного полноценного, имеющего свою правду жизни, голоса.

К. Роджерс приводит самоотчет одного из участников психотерапевтической группы: «Это было глубокое духовное переживание. Я чувствовал единство духа нашей группы. Мы дышали вместе, чувствовали вместе, даже говорили друг за друга. Я чувствовал мощь “жизненной силы” (чем бы она ни была, наполнявшей каждого из нас. Я ощущал ее присутствие без привычного деления на “я” и “ты” — это было похоже на медитативное ощущение, когда я чувствовал себя центром сознания. И вместе с этим экстраординарным ощущением единства никогда еще так ясно не сохранялась настоящая отдельность каждого человека» (Роджерс, 2001).

В отличие от акцентуации ценности и неповторимости бытия отдельной личности в философии экзистенциализма и гуманистической психологии в восточной буддистской традиции культивируется идея ухода от «индивидуальной биографии», от уникальности личности, при близости к идее интеграции и соборности, свойственной христианской традиции. В дзен-буддизме возможность актуализации в сознании человека предыдущего исторического опыта связана с идеей иллюзорности бытия отдельной личности (принцип анатта) и идеей общности всего живого как форм воплощения единого духа. Дзен-буддизму вторит сикхизм: «Как множество искр возникает из одного огня, и в конце концов, гаснет и поглощается опять этим огнем, так и бесчисленные волны рождаются из одного океана и, несмотря на это, поднимаются как одна и та же вода, так и мириады форм Творения, все проявления одного Единого Бесформенного. Все люди происходят из человеческого рода и должны пониматься едино» (Гуру Гобинд Сингх, Десятый Гуру сингхов, цит. по: Баба Вирса Сингх, 2004, с. 30).

Противопоставление тварного мира как пространственно-временного, в котором только и возможна история, сверхпространственному и сверхвременному «Я» — «субстанциональному деятелю» (в терминах Лосского (1992)) при-суще и русской религиозной и около религиозной философии бытия. «Так как субъект есть существо сверхвременное и сверхпространственное, — пишет Н. О. Лосский, исходя из представления о бессмертии души, — то и координация его с объектами не есть пространственная близость и не есть сосуществование во времени; это связь субъекта с миром, стоящая выше всякой пространственной и временной раздробленности. Поэтому возможно знание о предметах далеких от моей теперешней жизни во времени. На этом основании может быть выработана интуитивистская теория памяти, согласно которой воспоминание есть интенциональный акт, направленный субъектом через пропасть времени прямо на событие, пережитое или воспринятое вчера, или даже 20–30 лет тому назад; при этом акт воспоминания есть теперешнее событие, а вспоминаемое есть само прошлое в подлиннике, опять наличествующее в сознании» (Лосский, 1992, с. 151).

В любом случае безотносительно к возможным интерпретациям идея исторической памяти на все события и все деяния человечества и отдельных «человеков» заслуживает внимания (по крайней мере, в психотерапевтическом плане, обеспечивающая если и не личное бессмертие, так хотя бы всеобъемную и бесконечную память о всем нашем бытии). Аргументами в пользу этой идеи могли бы быть следующие соображения. Индивидуальная человеческая память содержит, по мнению А. Р. Лурии, практически все события, происшедшие с человеком в ходе его жизни. Эксперименты Х. Дельгадо по электростимуляции мозга позволили ему утверждать, «что нейроны сохраняют

полную запись прошлых событий, включая всю сенсорную информацию (зрительную, слуховую, проприоцептивную и т.д.), а также эмоциональное звучание событий» (Дельгадо, 1971, с. 154). Созвучны этому утверждению и результаты экспериментов Б. М. Величковского по определению объема долговременной памяти визуального материала, и гипнотические опыты В. В. Кучеренко по извлечению из пассивной памяти свидетеля событий прошлого.

Память Бога, интегрального сознания или эволюционирующей Вселенной, насчитывающей миллиарды лет существования, вполне могла бы содержать механизмы, обеспечивающие фиксацию и хранение всей информации обо всем произошедшем и пережитом. Вспомним по сути религиозное пророчество «рукописи не горят» М. Булгакова. Конечно, подобное допущение в науке, согласно принципу Оккама «не умножать сущности без нужды», должно бы быть элиминировано. Но не укладывающиеся в естественно-научную парадигму линейного времени «вещие сны», предчувствия и пророчества, ощущение присутствия в себе других личностей («вселение бесов»), парадоксальное ощущение чувств не высказавших свои переживания, страдания других людей. Примером тому переживания никогда не сидевшего А. Галича, но остро чувствовавшего и описавшего мироощущение зеков, населявших ГУЛАГ, никогда не воевавшего В. Высоцкого, через военные песни которого возопили души погибших солдат, или автора исторического романа «Петр Первый» А. Толстого, вообще жившего в другую эпоху, но предельно четко и детально описавшего менталитет и прошедшей эпохи Петра Великого, да и нас самих, способных удивиться тонкости их исторического чутья, а следовательно, соотносящих их творчество с ощущаемой нами самими исторической достоверностью.

Какими средствами творческой эмпатии осуществляется подключение к этим историческим ментальным эгрегорам таких писателей, как Александр Пушкин, Томас Манн, Леон Фейхтвангер или Алексей Толстой, мы еще не знаем. Перефразируя слова Гиля Уленшпигеля в романе Ш. де Костера — пепел прошлого (погасших звезд) стучит в нашем сердце — можем вспомнить, что наша плоть, наше тело включает, например, металлы, которые образуются при вспышках сверхновых звезд (т.е. звезд, частично выгоревших и под действием гравитации коллапсирующих и сжимающихся в сверхмалые (по галактическим масштабам) объемы, где в силу гигантского давления и сверхвысокой температуры образуются те самые элементы, которые через миллионы лет эволюции вошли в нашу плоть). Мы (по крайней мере, то вещество, из которого мы состоим) столь древние, что мы не можем однозначно отрицать возможные адаптационные механизмы хранения информации самой этой материей, возникшие за миллиарды лет космической эволюции, или не допустить иных гипотетических механизмов памяти и самосознания Вселенной. Можно полагать, что не только (экспериментально не доказанные, но широко используемые в теоретических построениях) коллективные юнговские архетипы присутствуют в нашем подсознании, но и другие формы эволюционной памяти и исторического опыта. Ключ, открывающий доступ к наследственной, «генетической» памяти человечества, могут дать формы измененных состояний сознания (Минделл, 2004; Тарт, 2003; Хант, 2004; Кучеренко, Петренко, Россохин, 1998; Майков, Козлов, 2004; Козлов, 2010) и, в частности, медитация (Конзе, 1993; Andresen, 2000). И, обратив медитативный взгляд внутрь себя, реализовав призыв древних мыслителей «познай себя» и осуществив своеобразную «ментальную археологию», мы обретаем еще один ключ к познанию истории.

Литература

- Аллахвердов В. М. (2005). Блеск и нищета эмпирической психологии // Психология. Журнал Высшей школы экономики. № 1. С. 44–65.
- Аллахвердов В. М. (2009). Сознание — кажущееся и реальное // Методология и история психологии. Вып. 1. С. 137–150.
- Аллахвердов В. М., Кармин А. С., Шилков Ю. М. (2008). Почти постмодернистский гипертекст о методологии науки // Методология и история психологии. Вып. 3. С. 5–8.
- Асмолов А. Г. (2016). Конструирование образов образования в науке и культуре // Образовательная политика. № 1. С. 86–88.
- Асмолов А. Г., Гусельцева М. С. (2016). Психология как ремесло социальных изменений: технологии гуманизации и дегуманизации в обществе // Мир психологии. № 4. С. 14–28.
- Баба Вирса Сингх (2004). Объяснение в любви (избранное). М.: без изд-ва.
- Бергсон А. (1998). Творческая эволюция. М.: Кучково поле; Канон-пресс.
- Бернштейн Н. А. (1966). Очерки по физиологии движений и физиологии активности. М.: Медицина.
- Бреннер П. (2003). Будда в приемной. Киев: София.
- Брудный А. А. (1998). Психологическая герменевтика. М.: Лабиринт.
- Брунер Дж. (1977). Психология познания. За пределами непосредственной информации. М.: Прогресс.
- Выготский Л. С. (1934). Мышление и речь. М.; Л.: Государственное социально-экономическое издательство.
- Выготский Л. С., Лурия А. Р. (1930). Этюды по истории поведения. М.; Л.: Гос. изд-во.
- Гадамер Х.-Г. (1988). Истина и метод. М.: Прогресс.
- Грипак Л. П. (2004). Тайны гипноза: современный взгляд. СПб.: Питер.
- Грин Л. (1966). Последние тайны старой Африки. М.: Мысль.
- Гриндер Д., Бэндлер Р. (1994). Формирование трансa. М.: Каас.
- Гроф С. (1994). Области человеческого бессознательного. М.: Изд-во Трансперсонального ин-та.
- Гумбольдт В. (1984). Избранные труды по языкознанию. М.: Прогресс.
- Гуревич А. Я. (1984). Категории средневековой культуры. М.: Искусство.
- Гуревич А. Я. (1990). Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства. М.: Искусство.
- Давыдов В. В. (1972). Виды обобщения в обучении (логико-психологические проблемы построения предметов). М.: Педагогика.
- Дельгадо Х. (1971). Мозг и сознание. М.: Мир.
- Дильтей В. (1996). Описательная психология. СПб.: Алетейя.
- Залевский Г. В. (2008). Объяснение и понимание против «циклопной психологии» // Методология и история психологии. Вып. 1. С. 41–46.
- Знаков В. В. (2007). Самосознание, самопонимание и понимающее себя бытие // Методология и история психологии. Вып. 3. С. 65–74.
- Знаков В. В. (2010). Тезаурусное и нарративное понимание событий как проблема психологии человеческого бытия // Методология и история психологии. Вып. 3. С. 105–119.
- Карицкий И. Н. (2005). Специфический и всеобщий метод психологии // Труды Ярославского методологического семинара. Т. 3: Метод психологии. / под ред. В. В. Новикова и др. Ярославль: МАПН. С. 111–135.
- Карицкий И. Н. (2010). Понятие субъекта и объекта в философии и психологии // Методология и история психологии. Вып. 1. С. 69–101.
- Касавин И. Т. (2000). Традиции и интерпретации. Фрагменты исторической эпистемологии. СПб.: РХГИ.
- Келли Дж. (2000). Психология личности. Теория личных конструктов. СПб.: Речь.
- Козлов В. В. (2010). Трансперсональная психология: измененные состояния сознания, околосмертные переживания, интуиция, психология духовности. М.: Эксмо.
- Конзе Э. (1993). Буддийская медитация. М.: Изд-во МГУ.
- Кучеренко В. В., Петренко В. Ф., Россохин А. В. (1998). Измененные состояния сознания: психологический анализ // Вопросы психологии. № 3. С. 70–78.
- Лосский Н. О. (1992). Учение о перевоплощении; Интуитивизм. М.: Прогресс; VІA.
- Лурия А. Р. (1974). Об историческом развитии познавательных процессов. М.: Наука.

- Мазилев В. А. (2007). Становление метода психологии: страницы истории (метод интроспекции) // Методология и история психологии. Вып. 1. С. 61–85.
- Мартинсон К. Э., Карпова А. К. (2008). Интерпретация психологии в социокультурных взаимосвязях // Методология и история психологии. Вып. 1. С. 28–40.
- Минделл А. (2004). Сновидение в бодрствовании. М.: АСТ.
- Майков В., Козлов В. (2004). Трансперсональная психология. Истоки, история, современное состояние. М.: АСТ.
- Московичи С. (1998). Машина, творящая богов. М.: Центр психологии и психотерапии.
- Назаретян А. П. (2001). Цивилизационные кризисы в контексте Универсальной истории. М.: ПЕР СЭ.
- Непейвода Н. Н. (2010). Интуитионизм // Новая философская энциклопедия: в 4 т. Т. 2. М.: Мысль. С. 136–138.
- Нуркова В. В. (2000). Свершенное продолжается: психология автобиографической памяти личности. М.: Изд-во УРАО.
- Патнем Х. (2002). Разум, истина и история. М.: Практикс.
- Петренко В. Ф. (1983). Введение в экспериментальную психосемантику: исследование форм репрезентации в обыденном сознании. М.: Изд-во Моск. ун-та.
- Петренко В. Ф. (1987). Психосемантический подход к этнопсихологическим исследованиям // Советская этнография. № 4. С. 22–38.
- Петренко В. Ф. (1988). Психосемантика сознания. М.: Изд-во Моск. ун-та.
- Петренко В. Ф. (1997). Основы психосемантики. М.: Изд-во Моск. ун-та.
- Петренко В. Ф. (2002). Конструктивистская парадигма в психологической науке // Психологический журнал. № 3. С. 113–121.
- Петренко В. Ф. (2013). Многомерное сознание: психосемантическая парадигма. М.: Эксмо.
- Петренко В. Ф., Митина О. В. (1997). Психосемантический анализ динамики общественного сознания (на материале исследования политического менталитета). М.: Изд-во Моск. ун-та.
- Петренко В. Ф., Супрун А. П. (2017). Методологические пересечения психосемантики сознания и квантовой физики. М.: Нестор-История.
- Пиаже Ж. (1960). Структуры математические и операторные структуры мышления // Преподавание математики / авт.-сост. Ж. Пиаже. М.: Учпедгиз.
- Покровский Н. Е. (2004). Глобализационные процессы и возможный сценарий их воздействия на российское общество // Город и село в современной России: перспективы структурного воссоединения / под ред. Н. Е. Покровского. М.: СоПСо.
- Пришвин М. (1926). Родники Берендея. М.; Л.: Гос. изд-во.
- Роджерс К. (2001). Клиентоцентрированный / человекоцентрированный подход в психотерапии // Вопросы психологии. № 2. С. 48–58.
- Рубинштейн С. Л. (1997). Человек и мир. М.: Наука.
- Соколова Е. Т. (2002). Психотерапия. Теория и практика. М.: Academia.
- Степин В. С. (1986). О прогностической природе философского знания // Вопросы философии. № 4. С. 39–53.
- Сулейманян А. Г. (2003). О «языке дымов» бушменов // Проблемы медиапсихологии / сост. и ред. Е. Е. Пронина. М.: РИП-холдинг. С. 96–103.
- Тарт Ч. (2003). Измененные состояния сознания. М.: Эксмо.
- Тойнби А. Дж. (1996). Постигание истории. М.: Прогресс.
- Уорф Б. Л. (1960). Отношение норм поведения и мышления к языку // Новое в лингвистике. Вып. 1 / под ред. В. А. Звегинцева. М.: Изд-во иностранной литературы.
- Фукуяма Ф. (2003). Великий разрыв. М.: АСТ.
- Хант Г. (2004). О природе сознания. М.: АСТ.
- Хантингтон С. (2003). Столкновение цивилизаций. М.: АСТ.
- Хинтикка Я. (1980). Логико-эпистемологические исследования. М.: Прогресс.
- Шкуратов В. А. (1994). Историческая психология. Ростов н/Д.: изд-во Город Н.
- Шмелев А. Г. (1983). Введение в экспериментальную психосемантику: теоретико-методологические основания и психодиагностические возможности. М.: Изд-во МГУ.

Шмелев А. Г. (2002). Психодиагностика личностных черт. СПб.: Речь.

Шпенглер О. (1998). Закат Европы: очерки морфологии мировой истории. М.: Мысль.

Шюц А. (2004). Избранное: Мир, светящийся смыслом. М.: Российская политическая энциклопедия.

Элен П. (1999). Удивление — пафос философской мысли // Разум и экзистенция: анализ научных и вненаучных форм мышления / под. ред. И. Т. Касавина и В. Н. Поруса. СПб.: РХГИ. С. 74–89.

Янчук В. А. (2007). Постмодернистская социокультурно-интердетерминистская диа-

логическая перспектива метода психологического исследования // Методология и история психологии. Вып. 1. С. 207–226.

Andresen J. (2000). Meditation Meets Behavioural Medicine: The Story of Experimental Research on Meditation // Cognitive Models and Spiritual Maps. Bowling Green, USA.

Kelly G. A. (1955). The psychology of personal constructs. N.Y.: Norton & Company.

Osgood Ch. E., Suci G. J., Tannenbaum P. H. (1957). The Measurement of Meaning. Urbana and Chicago: University of Illinois Press.

Stehr N. (1994). Knowledge Societies. L.: Sage Publications.